

Илья

Шухов

НЕБЫВАЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Из «Заметок без назиданий»

Жанр коротких, не связанных общим сюжетом этюдов давно уже утвердился в нашей отечественной словесности. Не знаю, были ли до того прецеденты, но для меня этот жанр впервые открылся в чудесной, на мой взгляд, книге Владимира Солоухина «Камешки на ладони».

После одни за другими стали появляться подобные, в смысле композиции, произведения, представляющие собой набор разнотемных литературных миниатюр. Их названия говорят сами за себя: те же «Камешки...», «Мгновения», «Затеси»...

В урочный час, как перед каждым пишушим, возник передо мной не такой простой вопрос – о названии. И тут я подумал, что большинство моих записей так или иначе касаются книг, стихов – словом, литературы, в частности, личности и творчества моего отца Ивана Петровича Шухова. Можно было бы озаглавить рукопись: «Вокруг да около, или Моё Иван-гелие». Однако это звучало бы не по-шуховски – вычурно и претенциозно. И потому решил назвать просто: «Заметки без назиданий».

* * *

Не знаю, как бы этак поделикатней... Всё же касается не так давно ушедших известных, пусть и в региональном масштабе, титулованных фигур – литератора и учёного-филолога. Правда, суть не в них, – в принципе. А дело такое. Прислали мне бандероль, всю испещрённую марками. Ни много ни мало – двадцать семь штук! На них – лики тех самых деятелей с мельчайшими – хоть в микроскоп смотри – подписями. Зато чётко обозначена цена. Поразил контраст: на марках с литератором значится цифра 80, а с учёным всего-навсего 4. Арифметика тут выходит такая: лишь две марки литератора оказываются в полтора раза дороже целых двадцати пяти почтовых миниатюр с портретом доктора филологии! Интересно, кто и по какому принципу отбирает кандидатов на почтовое увековечение и по какой шкале определяется их, так скажем, марочная стоимость?

Марок с портретом Ивана Петровича Шухова почтовое ведомство не выпускало. Но в 1986 году, к восьмидесятилетию со дня его рождения, Министерство связи СССР выпустило почтовый конверт с его портретом, выполненным по фотографии художником Н. Мишуриным. Конверт – стандартный, единого образца, с напечатанной в правом верхнем углу пятикопеечной маркой с надписью «Почта СССР» – был изготовлен на Пермской фабрике Гознака.



В 1991-м Союз распался, и гознаковские конверты вышли из обращения. Храню их как дорогую реликвию вот уже четверть века. А на подходе – очередная круглая дата со дня рождения отца. Не берусь гадать, как откликнутся на это событие профильные структуры, да и откликнутся ли вообще. А может, тоже выпустят марку, определив её формат и стоимость по своей хитроумной шкале?

Хотя всё это – преходяще. Главное – время от времени, независимо от юбилейных дат – переиздаются шуховские романы, впервые вышедшие восемьдесят лет назад. Дал бы бог, чтобы так было и впредь.

* * *

Сколько в жизни комичного. Бывает, и когда вовсе этого не ждёшь.

Накануне очередной годовщины со дня рождения отца пригласили меня на телестудию – участвовать в передаче с завлекательным названием: «Утренний кофе с гостем». Сказали, побеседуем об Иване Петровиче.

В назначенное время заехала за мной бойкая продюсерша, она же сопроводила меня по длинным коридорам в студию. Здесь за круглым столиком сидели двое ведущих – молодой человек и девушка. Над ними был трафарет с названием передачи, а на столике белела пара пустых кофейных чашечек в блюдцах. Меня усадили на диване напротив. Загорелось красное табло, ведущие изобразили улыбку, и запись началась.

Первый вопрос, заданный мне, оказался обманчиво простым: каким он был, Иван Петрович? Помню, буквально так же спрашивала меня в своё время журналистка из газеты перед восьмидесятилетним шуховским юбилеем.

В самом деле, каким он был? Припомнились строки стихотворения поэта Льва Щеглова, провожавшего четвёртого мая семьдесят седьмого года отца моего в последний путь:

Строг и тих почётный караул.
Граждане, кричите «караул»!
Умер небывалый человек,
Не бывать которому вовек.

Да, вот именно – небывалый человек. Стал я вспоминать разные эпизоды и несколько увлёкся – ведущие переглянулись между собой, напомнив тем самым про регламент. Мне хотелось бы поведать ещё о многом, но тут девушка сказала, не то спрашивая, не то утверждая:

– А Иван Петрович ведь ещё хорошо играл на балалайке...

Она, видимо, полистала накануне какие-то мои воспоминания. Я ответил, что отец играл не только на балалайке, которую действительно любил, но, не зная нот, импровизировал на аккордеоне и пианино. Очень хотелось, коль уж затронули музыкальную тему, рассказать о песне «Позарасти стёжки – дорожки» из фильма по отцовскому роману «Ненависть». Но ведущая, кивнув мне и улыбнувшись, стала благодарить «за интересную беседу» – лимит времени был исчерпан...

Всё же коварная вещь – импровизация. И вопросы показались какими-то легковесными, и ответами своими остался недоволен: говорил о мелочах, а многое важное упустил. Да что теперь поделаешь?

Вот тебе и «кофе с гостем»: беленькие чашечки на столе так и остались порожними...

* * *

Читаю в прессе писательские сетования – на утрату былого общественного статуса, полное невнимание властей, падение интереса к литературе и тому подобное. И как ни странно, сетования эти подстегнуло не что иное, как прошедший в России Год литературы. Его малоутешительным итогом редактор «Литгазеты» Юрий Поляков посвятил свою статью с говорящим заголовком «Кустарь с монитором», в котором нашёл меткое определение нынешним труженикам пера. Поистине кустарь: профессии «писатель» как таковой в официальном реестре не существует. Правда, монитор, то бишь компьютер, есть далеко не у каждого. Да и откуда ему быть, если даже пенсия – и та писателю не положена. Выходит, при таких делах ничего удивительного: надежды на Год литературы были большие, однако всё осталось по-прежнему. Вот и коллега Полякова – редактор газеты «День литературы», критик Владимир Бондаренко на юбилейном вечере в честь своего семидесятилетия, что прошёл в большом зале Центрального дома литераторов, с горечью сказал, дескать, появись сейчас «Война и мир» или «Евгений Онегин», – их могли бы и не заметить...

Да, раньше всё было совершенно иначе. Листаю страницы пятого тома Собрания сочинений отца, в который вошли статьи о писательском труде, раскрывающие в какой-то мере его творческую лабораторию. Кстати, он никогда не говорил про себя: «я пишу», а всегда только: «я работаю».

Из статьи в восьмом номере журнала «Рост» за 1932 год «За высокое идейно-художественное качество» – под рубрикой «Творческий отчёт писателя читателю» (можно ли нынче представить такое?). Вот что говорил здесь Иван Петрович о работе над своими издающимися и по сей день романами.

О «Горькой линии»: «После трёхлетней подготовительной работы, систематизации и обдумывания материала самый процесс писания вещи занял семь месяцев. Я работал ежедневно 10–15 часов в сутки. Теперь следы этой спешки не дают мне покоя...

Хочется написать этот роман снова, по-другому – накопились новые художественные средства, кои в той или иной мере позволят преодолеть допущенные промахи».

О втором романе – «Ненависть»: «Действие этого романа по понятиям географическим относится тоже к Казахстану. Собственно, персонажи этой вещи выросли из “Горькой линии”, хотя они и выступают здесь под другими именами... Так же, как и над первым романом, сидел я над “Ненавистью” восемь месяцев без передышки. Но работа давалась уже труднее. Так, некоторые главы и концовка переделывались до 18 раз – 18 рукописных вариантов этих глав лежат в моих папках». Видел Иван Петрович недостатки и в «Ненависти». Однако, при всей невероятной требовательности, он знал себе цену и не всегда соглашался даже с Алексеем Максимовичем Горьким, коего называл «Великим Учителем, замечательным критиком и другом». В той же статье он косвенно ответил на горьковские замечания о «Ненависти»: «В смысле стилистических приёмов в этом романе я стремился к максимальной художественной простоте и выразительности образа. Обвинений же критики в чрезмерной перегруженности языка зачастую надуманными эпитетами принять не могу, ибо кто меня может убедить в том, что “синие сны озёр” – плохо, если это на самом деле хорошо. Трудно объяснить эту строчку, просто невозможно. Надо поехать в акмолинскую степь и поглядеть в знойный полдень на эти озёра...».

Между прочим, у отца был членский билет Союза советских писателей за номером 733, выданный в 1934 году за подписью М. Горького, и он хранил его до конца своих дней, так и не сдав при обмене...

Это я к тому, что писатель раньше был на виду и – пусть не прозвучит высокопарно – на самом деле чувствовал ответственность перед читателем за свою литературную продукцию. И как знать, плохо это или хорошо, обществу было небезразлично его, писателя, творческое самочувствие. Скажем, когда в сороковых годах у отца моего случился творческий кризис, в республиканской газете появился дружеский шарж со стихотворной подписью:

Мы славим нашего Ивана.
Ему послушен бег пера.
Но – нету нового романа.
Пора, Иван, давно пора!

* * *

Не заметил, как подошло столетие со дня рождения отца. Кажется, только вчера, а не десяток лет назад, писал «Послесловие...» к его вековому юбилею. И вот уже скоро сорок лет, как не стало Ивана Петровича. Сколько его друзей ушло за эти годы...

Смотрю содержание книги воспоминаний, вышедшей вскоре после отцовской кончины: из сорока мемуаристов больше тридцати уже нет на свете. Не осталось никого и из сотрудников шуховского журнала – ребят, как дружески называл он «просторовцев», независимо от их возраста, хотя и вправду, все они были значительно его моложе.

В почтенных летах пребывают теперь иные из литераторов, чей творческий путь начался на страницах «Простора» в его незабываемое, ренессансное шуховское одиннадцатилетие.

Так совпало, что в этот юбилейный шуховский год исполняется восемьдесят лет со дня рождения Олжаса Сулейменова. Подумалось, мы с Олжасом Омаровичем почти ровесники, так что он вполне годился бы Шухову в сыновья. Да он и был его, так сказать, литературным сыном, поэтический талант которого Иван Петрович ценил и которому дал рекомендацию для вступления в Союз писателей.

У меня хранится компакт-диск с записью сюжета из киножурнала «Советский Казахстан» за 1965 год. Сюжет краткий, трёхминутный, но ценный тем, что запечатлел Ивана Петровича в его просторовском кабинете в кругу сотрудников и активных авторов журнала. В их числе был и молодой, двадцатидевятилетний красавец Олжас, чьи дебютные – яркие, дерзкие, насыщенные особой экспрессией и языковым колоритом стихи уже печатались на просторовских страницах и привлекли к себе живой интерес ценителей поэзии. Талантливый поэт, не будучи штатным сотрудником журнала, быстро стал здесь своим.

В мемуарной статье о моём отце близкая к журналу литературовед Евгения Васильевна Лизунова вспоминает такой эпизод. «Первое мая 1964 года. Неожиданно во второй половине дня позвонил Иван Петрович и пригласил вместе с писателями отпраздновать встречу с приехавшей по его приглашению сестрой Есенина, своим старым другом – Александрой Александровной, Шурой, как называл её Шухов.

Пришла машина, и вскоре на огромной веранде дома отдыха в горах нас уже встречали Иван Петрович и его жена Евгения Александровна Рязанская. Иван Петрович не скрывал бурной радости, волнения, нежности к госте. И все мы тоже испытывали сильное душевное волнение от встречи с сестрой поэта, от того, что сидим рядом с ней за праздничным столом и слушаем её тихий, какой-то застенчивый голос. Улыбка у неё была чудесная. Она говорила о многом из той домашней жизни своих близких, о чём чуть позднее мы прочтём в её воспоминаниях. А потом вместе с Иваном Петровичем они негромко запели дуэтом песни на стихи Есенина так, как пели они, видно, там, в Константинове, на берегу Оки... А потом встал поэт Олжас Сулейменов и стал читать: «Отговорила роща золотая берёзовым весёлым языком», одно за другим, самые любимые стихи. Он читал вдохновенно, словно перед самим поэтом».



Напомню, что та встреча была в мае шестьдесят четвёртого – в начале второго года шуховского редакторства. Но потом были ещё десять лет, и много чего произошло за это немалое время. «Простор» из довольно-таки провинциального издания стал таким же известным в огромной стране и за рубежом журналом, как «Новый мир» Александра Твардовского.

Но я сейчас – не об этом. Просто – в год двух юбилеев, через призму десятилетий, прошедших после отлучения Ивана Петровича от журнала – а произошло то подкосившее его событие весной семьдесят четвёртого, за три года до кончины, – захотелось вспомнить кое-что из былого и посмотреть на слова и события давно минувших дней нынешними глазами.

Я уже сказал о том, что отец отметил и ценил неординарное сулейменовское дарование. Уже сам факт, что казах пишет яркие стихи на русском языке, отличающиеся характерным национальным колоритом, выделял Олжаса, ставил его в особый ряд.

Один из авторов книги воспоминаний, народный писатель Бурятии Африкан Андреевич Бальбуров, возглавлявший в те годы литературный журнал «Байкал», приводит свою беседу с Иваном Петровичем – о литературе, о переводах, жизненно важных и для «Байкала», и для «Простора», о билингвизме.

«Явление это, видимо, в стране вообще, – говорил Иван Шухов. – Я хорошо знал Эффенди Капиева. Кажется, из пишущих на русском националов он был первой ласточкой. И земляки удивлялись: как, дагестанец – и пишет на русском! Подобное отношение к нему продолжалось, пока Капиев не был замечен Горьким. Двухязычных писателей появляется всё больше. Я это приветствую... Олжас Сулейменов – поэт сложный, пишущий не традиционно. Пишет на русском, но

«Явление это, видимо, в стране вообще, – говорил Иван Шухов. – Я хорошо знал Эффенди Капиева. Кажется, из пишущих на русском националов он был первой ласточкой. И земляки удивлялись: как, дагестанец – и пишет на русском! Подобное отношение к нему продолжалось, пока Капиев не был замечен Горьким. Двухязычных писателей появляется всё больше. Я это приветствую... Олжас Сулейменов – поэт сложный, пишущий не традиционно. Пишет на русском, но

никто, начиная от ученика и кончая Леонидом Мартыновым, не считает его поэтом русским. Он поэт казахский! “Простор” поддержал Олжаса. Дорога истинного таланта не бывает гладкой, и именно поэтому журналы обязаны вовремя замечать такие таланты, помогать им всячески...»

Это были не пустые слова: «Простор» помог встать на крыло многим молодым – и уже не совсем молодым – литераторам. Что касается Олжаса, слава его в шуховские редакторские годы всё больше росла и ширилась. К началу семидесятых просторовский дебютант вырос не только творчески – стал лауреатом республиканских премий, – но и в карьерном плане.

В пятом томе Собрания сочинений моего отца опубликован его отзыв «Об Олжасе Сулейменове», датированный 20 сентября 1971 года. Возможно, отец написал это в ответ на просьбу «инстанций» в связи с утверждением Сулейменова в должности секретаря писательского Союза. И отзыв этот, как всегда у Ивана Петровича, неформален, окрашен его собственным отношением к товарищу по перу.

«Очень многим подкупает – меня лично – Олжас Сулейменов. Редчайшим поэтическим его дарованием. Культурой. Самобытностью. Личным обаянием. Молодостью. Скромностью.

Его стихи, поэмы – “Земля, поклонись Человеку”, “Глиняная книга” и даже его публицистика – всё это отмечено чертами неповторимого, одному ему присущего своеобразия, и как всякий большой поэт Олжас Сулейменов, пишущий на великом русском языке, при ярко выраженной интернациональной направленности его глубоко современного творчества, – при всём этом он представляется мне явлением глубоко национальным. Он по праву примыкает к яркому созвездию таких, скажем, имён, как Александр Твардовский, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Чингиз Айтматов, Роберт Рождественский.

Я был счастлив своей дружбой с великим моим современником – Мухтаром Ауэзовым, и я столь же счастлив быть современником нынешнего молодого моего друга и сотоварища по перу – Олжаса Сулейменова».

Но – тут приходится оставить благостный тон и вспомнить историю последних «просторовских» лет отца. В то время он работал над автобиографическими повестями из цикла «Пресновские страницы». Повесть «Колокол» увидела свет в первом номере «Простора» за семидесятый год, следующая – «Трава в чистом поле» была опубликована в журнале два года спустя – в январе семьдесят второго. И – не успела ещё высохнуть типографская краска свежего номера, как грянул гром.

Произошло это двадцать первого января – на пленуме Союза писателей Казахстана. Хорошо помню заполненный конференц-зал Центрального комитета комсомола, где почему-то проходил тот пленум. Иван Петрович сидел в президиуме среди видных литераторов-аксакалов. Открылся пленум докладом Олжаса Сулейменова. У меня сохранилась стенограмма – хорошо, что не поленился и переписал отрывок в тетрадь.

Вот что тогда, выражаясь по-нынешнему, «озвучил» докладчик:

«Хотелось бы сказать о политическом благодушии нашей критики. Дальше призывов крепить дружбу народов и стоять на страже социализма в области национальных отношений критики не идут, хотя встречаются ещё в советской литературе книги, которые должны были стать предметом принципиального разговора.

“Вопросы литературы” недавно провели очередное заседание круглого стола критиков, на котором и мне удалось участвовать. Валентин Оскоцкий в интересном выступлении привёл несколько примеров неклассового подхода к истории из свежей литературы. Упоминалась в этом ряду книга о генерале Скобелеве, изданная недавно центральным издательством, где Скобелев превозносится как национальный герой.

По возвращению я прочёл в журнале “Простор” № 1 повесть Ивана Петровича Шухова “Трава в чистом поле”, немало слов в которой отведено Скобелеву. Сообщу прежде, что мне известно об этом генерале. О нём написано много в дореволюционной России и потом в белой эмиграции. Наиболее полно изложена судьба Скобелева в большой книге Николая Кнорринга, вышедшей в Париже. И удивительно то, что книга эмигранта более объективно и всесторонне изображала события той эпохи и обнаруживает более диалектический, я бы сказал даже “марксистский” подход к истории, нежели произведения советских авторов на ту же тему. Генерал Скобелев – блестящий полководец, стратег, человек большого личного обаяния, автор лозунга: “Славянам править миром, а славянами править России”. Целью его жизни было – захват восточных колоний Англии – прежде всего Индии. Средняя Азия нужна как плацдарм для проникновения в Иран, Афганистан. Царь Александр II поддержал этот авантюрный план. Первый пункт программы Скобелев выполнил блестяще...

И только бомба народовольца, оборвавшая жизнь Александра II, помешала ему приступить к следующим действиям.

Александр III отверг план Скобелева. И карьера генерала закатилась.

Фигура по-своему безусловно трагическая, достойная внимания писателей. Но мы не должны забывать о той стороне его общественной деятельности, которая вызывала гнев и осуждение всей прогрессивной России. Пролетарский Петербург и передовая интеллигенция не принимали Скобелева. Причины этого холода должен был понять уважаемый автор повести “Трава в чистом поле”. Отвлекаясь от исторической реальности, мы задним числом, по прошествии многих лет после тех кровавых событий, вырываем отдельные фигуры из той среды и судим их или возвеличиваем».

Помню напряжённое лицо Ивана Петровича, вынужденного выслушивать сию критическую отповедь на виду у заинтригованного, явно одобряющего оратора зала. То, что он, старый писатель, тогда пережил, можно, наверное, передать чьим-то метким четверостишием:

Призрел кукушку воробей –
Безродного птенца.
А он – возьми да и убей
Приёмного отца.

Та отповедь из уст оперившегося, набравшего солидный вес просторовского «птенца» была особенно неожиданной и неприятной, если учесть то, что незадолго до этого первая автобиографическая повесть «Колокол» получила высокую оценку критики и даже выдвигалась на республиканскую государственную премию.

Естественно, сулейменовский «сигнал» был тут же услышан в «инстанциях», а может быть, и заранее согласован с ними. Владислав Владимиров, не одну статью написавший о творчестве Ивана Петровича, вспоминая тот драматический эпизод,

в мемуарном очерке заметил, что хотя Шухов не был тщеславен, не очень заботился, много или мало пишут о нём в критике, но его всё же задевало молчание. «Каким-то особенно неприятным случилось оно после того, как его чувствительно и не в меру размашисто “царапнули” за образ генерала Скобелева».

Но – молчанием дело не ограничилось: новеллу о Скобелеве – объёмом в целый печатный лист – исключили из «Травы в чистом поле» при публикации в последней прижизненной книге отца «Пресновские страницы», изданной в Алма-Ате в 1975 году и отмеченной таки госпремией – за три с половиной месяца до кончины Ивана Петровича...

А что же Олжас Сулейменов? По какому-то странному совпадению, в том же издательстве и почти одновременно с «Пресновскими страницами», вышла книга Олжаса «Аз и Я», вызвавшая небывалый фурор не только в Казахстане, но и в Москве и в других республиках страны. Разброс мнений был велик – от одобрения до тотального критического разгрома. Особенно досталось Сулейменову от учёных, устроивших обсуждение книги 13 февраля 1976 года на расширенном заседании в Академии наук СССР. Здесь сполна накалили «чёрных шаров» Олжасу маститые московские учёные – академики Б. А. Рыбаков, Д. С. Лихачёв, А. Л. Нарочницкий, доктор исторических наук И. М. Дьяконов.

Досталось автору и от своего, «родного» академика, вице-президента республиканской Академии наук А. Н. Нусупбекова. Он сказал: «После обсуждения есть над чем подумать автору “Аз и Я”. На мой взгляд, в книге явно переоценивается роль тюрков в истории, роль семитов в истории мировой цивилизации. Хочется верить, что поэт поймёт несостоятельность своей концепции. Ратуя за объективность, он сам отошёл от исторической правды. Это обсуждение должно сослужить пользу тем литераторам, которые берутся за историческую тематику, не обладая знанием общих закономерностей развития исторического процесса и конкретной истории отдельных народов».

Полный отчёт об обсуждении был опубликован в девятом номере журнала «Вопросы истории» за 1976 год. В редакционном послесловии отмечалось, что Олжас Сулейменов сказал, что каждое выступление было понятным ему и полезным. Многие отмеченные недостатки, по-видимому, действительно присущи его книге. Вместе с тем он подчёркивал, что его критиковали, не учитывая, что он не исследователь, а поэт, и что к его работе нужно подходить не как к научному труду.

Результатом всей этой шумихи было то, что «Аз и Я» потихоньку убрали с прилавков и уволили из издательства редактировавшего её сотрудника. И как водится в таких случаях, книга стала пользоваться огромным спросом, на «чёрном» рынке за неё готовы были платить сумасшедшую цену. Так что сам виновник скандала особого ущерба не понёс. Напротив, сулейменовская слава стала ещё более громкой. Помню дружеский шарж на Олжаса в «Литературной газете» с двустушием:

От наград рябит в глазах.
Что сказать? Терпи, казах!

И неудивительно, ведь Олжасу покровительствовал сам глава республики Димаш Ахмедович Кунаев...

А последние годы моего отца были омрачены той самой историей с «Травой в чистом поле», а главное – последовавшим вскоре за нею расставанием с дорогим его сердцу «Простором»...

Справедливости ради надо сказать, что – пусть и запоздало, спустя девять лет после кончины Ивана Петровича – Олжас несколько витиевато, но всё же попытался оправдаться за ту некрасивую историю. Было это десятого апреля восемьдесят шестого года на съезде писателей Казахстана. Начался он опять-таки докладом Сулейменова. В той же моей общей тетради выписан оттуда следующий отрывок: «Мы начали доклад с обзора критического жанра и хотелось бы завершить некоторыми размышлениями на ту же тему. Вчера после пленума я встретился со старшими товарищами. Вспомнили молодость. Какими мы были нетерпимыми... Вспоминаю год 1972-й, постановление ЦК КПСС “О литературно-художественной критике”. Мы проводим пленум, я докладчик. Долбаю по молодости труды нашего главного критика М. Каратаева, достаётся многим, в том числе И. П. Шухову. Всего год назад он дал на меня письменную характеристику в инстанцию, где в самых возвышенных тонах говорил обо мне и рекомендовал в состав секретариата. Признаюсь, у меня было некоторое затруднение, когда я работал над докладом. Мог обойти произведение Ивана Петровича. Чтобы просто не обидеть пожилого человека, классика советской литературы, ученика М. Горького. Но сейчас понимаю, что тогда бы я не подтвердил характеристики. И я не обошёл критикой “Пресновские страницы”. Многие сидящие в зале помнят тот доклад.

После пленума ко мне подошёл расстроенный Иван Петрович, и у нас состоялся диалог:

– Это правда, Олжас, что ты критиковал меня с какой-то целью?

– С какой?

– Чтобы занять моё место в “Просторе”? Я не могу в это поверить, – сказал Иван Петрович.

– Кто вам это доложил?

И он назвал имя того человека.

Я его тут же разыскал, привёл к Ивану Петровичу в кабинет:

– Говорил такое?

– Да я же пошутил. Мне верить нельзя.

Он действительно всегда слыл шутником, комедиографом, и сейчас иногда шутит, но от этих подлых шуток люди хватали инфаркт.

Я при нём сказал Ивану Петровичу: всегда, если вам кто-то скажет, что я о вас что-то сказал, – ставьте меня в известность, я притащу его к вам, и мы разберёмся. Иначе нас всех рассорят.

Против каждого из нас действует старая, но хорошо смазанная система клеветы и наветов, гнусный фольклор, жанр устной закулисной критики. Атмосфера нашего писательского общества, особенно почему-то нашего, всегда была перенасыщена этим болотным газом. Бороться с ним, вытеснять его из нашей среды можно только кислородом правды. Критиковать, не боясь испортить отношения.

Тогда мой доклад заканчивался: “Давайте, товарищи, портить отношения”. Призыв дошёл. С некоторыми отношения я действительно испортил. Но я горжусь, что я не испортил отношений с Иваном Шуховым, Габитом Мусреповым, Мухамеджаном Каратаевым».

...«Кислородом правды». Умеют же поэты эффектно сказать. Да только – где она, эта правда? Она, видно, у каждого своя...

* * *

Об этом поведала мне моя мать – с оговоркой: «Эх, если бы я умела писать, какой прекрасный рассказ мог бы получиться!..»

История такая. В доме, где в далёкие советские годы жила она с моим отцом, состоял при домоуправлении один чудаковатый, блаженненький мужичок, которого все в округе звали Васенькой. В его обязанности, помимо прочего, входило разносить по квартирам платёжные квитанции. Поступил он на работу спустя примерно год после кончины моего отца – как раз когда улицу Крестьянскую, где Васенька жил, переименовали и стала она улицей Ивана Шухова. Оттуда, с окраины, и приезжал Васенька на службу – в дом, на фасаде которого тогда же появилась шуховская мемориальная доска. Вот и получилось, что почти каждый божий день курсировал Васенька туда и обратно – от Шухова к Шухову. Служил разносчик исправно, спиртным не злоупотреблял, разве что после аванса или получки бывал слегка под хмельком – и тогда его тянуло потолковать с подопечными «за жизнь».

В таком вот словоохотливом состоянии Васенька, принеся платёжку моей матери, сообщил не без гордости о своей «шуховской» прописке и попросил на память книгу Ивана Петровича. Она подарила «Пресновские страницы», написав на титуле несколько слов и поставив под ними свою фамилию – Рязанская. Прочитал разносчик посвящение, заулыбался и говорит: а-а, теперь-то я узнал, в честь кого соседняя улица называется. Мать не поняла, что он имел в виду.

– Ну как же, – объяснил Васенька. – Вот я теперь живу на Шухова, а рядом с ней улица – Рязанская!..

* * *

Из Нобелевской лекции китайского писателя Гао Синьцзяня: «Только тогда, когда человек пишет, не думая о зарплате, или когда он находит радость в своём писании, не думая, зачем и для кого он пишет, его письмо выступает как абсолютная необходимость, – в этот момент рождается литература» (Вл. Бондаренко «Неизвестный Китай», в газете «День литературы» № 7 за 2006 г.).

О том же самом писал Михаил Пришвин: «Литература тогда будет настоящей, когда заниматься ею станет совершенно невыгодно».

А вот иное – противоположное – суждение Майи Плисецкой, правда, о другом виде творчества – музыкальном: «Знаете, раньше говорили так: “Вдохновение!.. Вот у него нет вдохновения – не может написать, есть вдохновение – пишет”. Какая ерунда! Это же непрофессионально. Все великие композиторы, которых мы знаем в истории, – Гайдн, Вагнер, Моцарт, Бетховен – они писали только по заказу» («Известия», 18 ноября 2005 г.).

Так судят великие. А я хочу перевести разговор в другое русло. Дело в том, что, сам того не ожидая, получил по почте гонорар. Впервые за все постсоветские годы! Прислали мне его из Петропавловска – за публикацию в журнале «Провинция», который до недавнего времени выходил в областном издательстве, где директором Иван Иванович Моор. И вот, пока возвращался с почты, придумалось шутовское:

Писал в «Провинцию» не даром:

Меня почтили гонораром!

Теперь жизнь не грозит мне мором –

Спасён от голода Моором.

* * *

Из Музея М. А. Шолохова в селе Дарьинском прислали по электронной почте статью о моём отце, скопированную из «Шолоховской энциклопедии». Она вышла в Москве в 2012 году.

Про эту энциклопедию слышал я давно. Затеяли её не то в конце девяностых, не то в начале нулевых. Печатались статьи в «Литгазете» о разных связанных с подготовкой такого фундаментального труда проблемах. И меня всё это не оставляло равнодушным, потому что на своём опыте знаю, что от подобного рода справочных изданий можно ждать каких угодно сюрпризов. Искazили же всё про Ивана Шухова в энциклопедии «Русские писатели 20 века», которую иначе как кривым зеркалом не назовёшь, что я и сделал в статье, напечатанной в своё время в журнале «Нива».

В 2005 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Валентина Осиповича Осипова «Шолохов», где о Шухове пишется неоднократно и на этот раз, к моей радости, достоверно. Есть там такой фрагмент. «Школьный учебник 1948 года. Я, – пишет автор, – по нему учился в десятом классе. Жил тогда, между прочим, в одной из станиц по знаменитой казачьей Горькой линии. Эта поистине горькая линия известна по роману Ивана Шухова с тем же названием». Это – на 474-й странице. А на 605-й Валентин Осипович рассказывает о своей последней встрече с Михаилом Александровичем Шолоховым в больнице 9 января 1984 года.

«То и дело мелькала мысль: не утомить бы чрезмерным присутствием. Он углядел порыв подняться и велел не уходить...

Взглянул на мою лишь чуть-чуть початую рюмку: “У нас... пьют... до дна... Закусывай... Закусывай...”

Слово за слово и пошёл разговор, да не по компасу, а по настроению. И чтобы стало понятно, как он непринуждённо складывался, скажу, что я отважился... даже на песню, на казачью, из тех мест в Казахстане, где прошло моё детство. Это после того, как в разговоре упомянули Ивана Шухова и его знаменитый роман “Горькая линия” о тех казаках, что жили по Иртышу...»

Обрадовало и то, что автор привел отрывок из редко цитируемого письма Горького Сталину, где речь идёт о чрезмерном восхвалении Панфёрова в книге «какого-то Гречишника», в котором нет ни слова о «Поднятой целине» Шолохова и о «Ненависти» Шухова. «Вполне естественно, что на этих авторов неумеренное восхваление Панфёрова действует болезненно и вредно».

А после в журнале «Русское поле» прочёл я его же, Валентина Осипова, статью, где он с горечью и тревогой написал о грубых ошибках и просчётах в подготовке шолоховского тома.

И вот передо мной копия статьи об отце из шолоховской энциклопедии – три колонки убористого текста. Начал читать с опаской – вспомнились осиповские критические замечания. Но – ничего: статья как статья – соответствует канонам жанра. По существу, беглый обзор творчества Шухова, данный, в соответствии с тематикой тома, так сказать, через шолоховскую призму. Названы почти все произведения Ивана Петровича. Упомянут фильм «Вражья тропы» по роману «Ненависть» и даже песня из фильма «Позарастали стёжки-дорожки».

Первое впечатление было – ну, слава богу, обошлось! Но когда стал перечитывать не торопясь, высветилось, что тему «Шолохов – Шухов» автор раскрыл,

основываясь, главным образом, на краткой статье «Обаяние личности», опубликованной в пятом томе Собрания сочинений отца. Она была написана Иваном Петровичем в 1975 году, к шолоховскому семидесятилетию.

«С Шолоховым судьба свела меня в юности в 1927 году, – писал отец. – Мы с ним встретились в журнале “Крестьянская молодёжь”, где секретарём редакции работал Василий Кудашев, один из самых близких друзей нашей юности. В этом журнале печатались “Донские рассказы” Михаила Александровича, здесь же были



Павел Кузнецов, Иван Шухов, Сабит Муканов и Михаил Шолохов. Алма-Ата. 1954 год.

опубликованы и самые первые мои произведения. Все трое мы очень сблизились, сдружились. Сказывалось, наверно, не только определённое родство характеров. Тогда мы только начинали входить в литературу, но нас связывала общность жизненного материала и опыта: Шолохов – донской казак, я крепко связал себя с темой сибирского казачества в грозные и прекрасные годы революции».

И – далее: «Критики, анализируя мои романы “Горькая линия” и “Ненависть”, нередко пишут о влиянии, оказанном на меня творчеством Шолохова. Должен сказать, что влияние это было. Влияние незаурядной и обаятельной личности Михаила Александровича, его творческой одержимости.

Считаю, что мне очень повезло, – тесное, непосредственное общение с Шолоховым в самом начале моей писательской биографии во многом помогло мне в литературном самоопределении».

А ниже идёт абзац: «Помню глубочайшие впечатления, которые вызвали у меня опубликованные первые главы “Тихого Дона”. Они-то и послужили своеобразным импульсом к написанию “Горькой линии”, вышедшей в свет в 1931 году. Роман “Ненависть” вышел в свет раньше “Поднятой целины”, но в нём по-своему преломились мысли, вызванные общением с Михаилом Александровичем».

Да, личность и творчество Шолохова были, по признанию отца, «предметом восхищения и гордости». Но, отгалкиваясь от этого, автор статьи в энциклопедии

неверно истолковывает суть высказываний и, смещая акценты, позволяет себе употребить по отношению к Ивану Петровичу слово «эпигонство», под которым подразумевается следование чужой творческой манере.

Ошибочное, несостоятельное суждение. О каком эпигонстве может идти речь, если шуховский роман появился раньше книги Шолохова! А главное – как бы на протяжении всего творческого пути Ивана Шухова критики к нему ни относились, все отмечали его талант, своеобразие языка и стиля. А талант, как известно, категория штучная.

Уместно здесь напомнить высказывания Алексея Максимовича Горького.

Из выступления перед редакторами политотдельских газет («Быть проводниками великой истины»): «Я думаю, что кое-что вы могли бы дать и о некоторых наших литературных достижениях. Таких, например, как книга Шухова “Ненависть”. О ней следует рассказать. Интересная книга. Или книга Шолохова, вероятно, вам всем известная, – и о ней напечатать толковую рецензию. Собрать целый ряд таких книг и объяснить, почему они интересны, почему их надо знать».

Из «Открытого письма А. С. Серафимовичу»: «...Критика ещё не удосужилась сопоставить “Бруски” с “Ненавистью” Шухова и “Поднятой целиной” Шолохова».

Хранятся у меня ксерокопии рецензий на первое издание «Горькой линии» (издательство «Федерация», Москва, 1931 г., роман, книга первая).

Приведу пару выдержек.

«Только что вышедший из печати роман Шухова, несмотря на свою незаконченность, несомненно заставит о себе заговорить и читателя, и критику. Роман “Горькая линия”, во многом напоминающий “Тихий Дон” Шолохова, не уступает последнему ни в какой мере по яркости и силе изображения казачьей станицы, а по глубине проникновения в действительность и по правильности установки в ней основной социальной тенденции поднимается несравненно выше шолоховской эпопеи.

Шухов, так же как и Шолохов, вырос в казачьей среде, с той лишь разницей, что формирование его психологии, накопление запасов переживаний и непосредственных впечатлений проходило не на Дону, а за Уралом, в широких казахских степях. Отсюда разница в колорите местности, в пейзаже, в акцентировке общественной роли казачества, изображённого Шуховым» (А. Воложенин. Журнал «Земля Советская», 1931, № 7).

«У Шухова нельзя найти тусклых затасканных слов. И новизна его словаря отнюдь не новизна синонимов. “Лицо цвета выжженного солончака”, “петушиная заря”, “тяжёлые глаза цейсовского бинокля” – всё это сказано так, что подмены быть не может» (Н. Оружейников. «Преодоление экзотики». «Литературная газета», 10 августа 1931, № 43).

И ещё такой выразительный штрих к шуховско-шолоховской теме. В десятом номере журнала «Литература национальностей СССР» за 1934 год есть подборка под заголовком «Советские писатели в переводе». Открывает её рецензия на книгу Шухова «Ненависть», вышедшую на французском языке трёхтысячным тиражом в Издательстве иностранных рабочих в СССР (Москва, 1934).

А следом за ней напечатана рецензия на шолоховскую «Поднятую целину» в переводе на марийский язык (Москва, ГИХЛ, 1934).

Факт, мне кажется, довольно красноречивый.

Впрочем, обойдусь без какого-либо резюме. Скажу только, что бережно храню фотографию: Михаил Александрович с Иваном Петровичем. На обороте – подпись характерным отцовским почерком: «Дорогому моему Илюшке – в память о нашем празднике – встрече с великим русским писателем М. А. Шолоховым – моим другом – в А-Ате. 15.9.54 г.»

* * *

В мемуарном очерке с хорошим названием «Ветры нашего лета» друг моего отца Андрей Петрович Кияница вспоминает: однажды Иван Петрович, заговорив о своих предках, сказал, что в числе семи запорожских казаков, основателей станицы Пресновской, был и его прапрадед.

И вот в марте 2017 года, спустя четыре десятилетия после отцовской кончины, североказахстанский историк и краевед Сергей Виниченко, занимающийся историей сибирского казачества, прислал мне письмо, где слова отца нашли своего рода – хоть и косвенное – документальное подтверждение.

«Уважаемый Илья Иванович, – пишет краевед, – получил из Москвы информацию по моему запросу (список казаков по Сибирскому линейному казачьему войску за 1794 год).

В списке, к сожалению, нет названия крепости, но есть такая запись:

“Шухов Пётр Иванов, капрал, 31 лет, лицом бел, глаза серые, волос темнорус, нос посредственный, говорит порядочно, из казацких детей, в службе казаком с 10 марта 778 г., капралом с 1 июля 785 г., женат, жена у него Катерина Степанова дочь крестьянская Тобольского наместничества Курганной округи Иковской волости, у них дети Иван 8, Костантин 4, дочь девка Марья 1 лет, живут при нём”.

Видимо, это Ваш предок, так как Пётр назвал старшего сына Иваном, а тот, в свою очередь, назовёт своего сына Петром и т. д.»

Такая вот интересная «информация».

Насчёт заключительной фразы могу заметить, что имена Иван и Пётр действительно были в шуховской родословной корневыми – моего деда по отцу звали Петром Семёновичем. А среди его, деда, с женой Ульяной Ивановной, бабушкой моей, тринадцати детей было даже два Ивана – старший и младший, мой отец. Об этом старшем брате можно прочитать в автобиографической повести Ивана Петровича «Трава в чистом поле».

Вот десятилетний Ваня, кстати, самый младший из дюжины всех братьев и сестёр, в первый раз выезжает весной с родителями на фамильную шуховскую пашню. Выезжает уже не гостем – тружеником, бороноволок. «– Вот и мы, дал бог, дождались своего бороноволока! – сказала однажды про меня мама, и я был счастлив услышать от неё такие слова, приняв их за великую похвалу моему возрасту».

И дальше:

«Не успел я ещё толком обыгаться от разморившей меня в лодке дремоты, как тотчас же получил первое трудовое поручение от старшего из братьев – Ивана.

– А ну-ка, Ивашка – серы ушки, марш в колодец за свежей водичкой – пора и чай греть! – подал полушутливую команду Иван, протягивая мне жестяной бакырок...

И я, на рысях доставив к нашему полевому табору бакырок ключевой воды, был похвален Иваном за расторопность».

* * *

Так же долго, как было с двухтомником переписки Льва Толстого семьдесят восьмого года издания, который удосужился прочесть только недавно, настраивался я и на чтение другой худлитовской книги – «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» – Иоганна Петера Эккермана, вышедшей в 1986 году.

Этот объёмистый том, изданный тем же, что и Толстого, пятидесятитысячным тиражом, прочёл я медленно, время от времени буксуя на некоторых пространных довольно-таки монотонных, на мой взгляд, рассуждениях знаменитых собеседников – о гётевском «Учении о цвете», о природных явлениях, генезисе и эволюции растений и тому подобном, не касающемся напрямую литературы и поэзии.

Правда, очень впечатлила запись Эккермана, помеченная 13 ноября 1823 года, где он приводит рассказ одного старика, бывшего камердинера молодого, двадцатисемилетнего Гёте.

«– Изучение природы и тогда уже было для Гёте самым главным делом. Как-то раз он позвонил среди ночи, я вошёл к нему в спальню и увидел, что он перекатил свою железную кровать на колёсиках от дальней стены к самому окну, лежит и смотрит на небо.

“Ты ничего не заметил на небе? – спрашивает он, и когда я сказал, что нет, говорит: – Тогда сбегай к караульному и спроси, заметил ли он чего-нибудь”. Я побежал, но караульный тоже ничего не заметил, о чём я и доложил своему господину, который лежал в той же позе и упорно смотрел на небо.

“Послушай, – сказал он мне, – в эти минуты дело обстоит очень скверно, где-то либо уже происходит землетрясение, либо оно скоро начнётся”. Он велел мне сесть к нему на кровать и показал, из каких признаков он это вывел.

– Какая же тогда была погода? – спросил я славного старика.

– Очень было облачно, – ответил он, – но ничто не шелохнулось, и духота была страшная.

Я поинтересовался, поверил ли он Гёте в ту ночь.

– Да, – отвечал старик, – я поверил ему на слово, ведь то, что он предсказывал, всегда сбывалось. Назавтра, – продолжал он, – мой господин рассказал о своих наблюдениях при дворе, причём одна дама шепнула своей соседке: “Слушай! Ведь он бредит!” Но герцог и другие мужчины верили в Гёте, а затем выяснилось, что он всё видел правильно. Недели через две или три до нас дошла весть, что в ту ночь чуть ли не половина Мессины была разрушена землетрясением».

А 12 апреля 1829 года Эккерман записал удивительное, оригинальное суждение Гёте о труде Сегюра, посвящённом Петру Великому.

«Этот труд его заинтересовал и многое ему разъяснил.

– Местоположение Петербурга, – сказал он, – непростительная ошибка, тем паче что рядом имеется небольшая возвышенность, так что император мог бы уберечь город от любых наводнений, если бы построил его немного выше, а в низине оставил бы только гавань. Один старый моряк предостерегал его, наперёд ему говорил, что население через каждые семьдесят лет будет гибнуть в разлившихся водах реки. Росло там и старое дерево, на котором оставляла явственные отметки высокая вода. Но всё тщетно, император стоял на своём, а дерево повелел срубить, дабы оно не свидетельствовало против него. Согласитесь, что в подобных поступках личности столь грандиозной есть нечто непонятное. И знаете, чем я это объясняю? Ни одному человеку не дано отделаться

от впечатлений юности, и, увы, даже дурное, из того, что стало ему привычным в эти счастливые годы, остаётся до такой степени любезным его сердцу, что, ослеплённый воспоминаниями, он не видит тёмных сторон прошлого. Так и Пётр Великий, желая повторить любимый Амстердам своей юности, построил столицу в устье Невы. Кстати, и голландцы не могут устоять против искушения, в самых отдалённых колониях возводя новые Амстердамы».

А вот о другом императоре – Наполеоне (запись 10 февраля 1830 года) Гёте рассказал Эккерману о книге, написанной английским генералом, сэром Гудзоном Лоу.

«– В ней имеются бесценные чёточки, – начал он, – которые могли быть подмечены только очевидцем. Как известно, Наполеон обычно носил тёмно-зелёный мундир, который от долгой носки и солнца пришёл в полную негодность; возникла настоятельная необходимость заменить его новым, он настаивал на мундире точно такого же цвета, однако на острове подходящего не нашлось, было, правда, зелёное сукно, но желтоватого оттенка. Надеть на себя мундир такого цвета властелину мира не подобало, ему только и осталось, что велеть перелицевать свой старый и по-прежнему носить его.

Ну, что вы скажете? Это же поистине трагическая чёточка! Просто за душу берёт, когда подумаешь: царь царей унижен до того, что ему приходится носить перелицованный мундир. Но если вспомнить, что этот человек растоптал счастье и жизнь миллионов людей, то видишь, что судьба отнеслась к нему ещё достаточно милостиво, и Немезида, приняв во внимание величие героя, решила обойтись с ним не без известной галантности. Наполеон явил нам пример, сколь опасно подняться в сферу абсолютного и всё принести в жертву осуществлению своей идеи».

21 марта 1830 года Эккерман записал разговор о физических недомоганиях и о взаимовлиянии тела и духа:

«– Трудно даже вообразить, какую поддержку дух может оказать телу, – сказал Гёте. – Я часто страдаю болями в нижней части живота, однако воля и сила разума не позволяют мне слечь. Лишь бы дух не подчинился телу! Так, например, при высоком атмосферном давлении мне работается легче, чем при низком. Зная это, я, когда барометр стоит низко, стараюсь большим напряжением сил преодолеть неблагоприятные условия, и мне это удаётся.

Но вот в поэзии насилием над собой не много сделаешь, приходится ждать от доброго часа того, чего нельзя добиться усилием воли».

Запись от 14 февраля 1831 года:

«Обедал с Гёте. Он эти дни читал мемуары генерала Раппа, отчего разговор зашёл о Наполеоне и о том, как должна была чувствовать себя мадам Летиция, мать стольких героев и родоначальница столь могучей семьи. Наполеона она родила, когда ей было восемнадцать, а её мужу двадцать три, и на его физической стати, видимо, благотворно сказалась юность родителей. После чего она родила ещё троих сыновей. Всё люди незаурядных способностей, дельные, энергичные и к тому же не лишённые поэтического дара. За четырьмя сыновьями следуют четыре дочери, наконец, последний сын Жером, по-видимому, уже несколько обделённый врождёнными талантами.

– Талант, конечно, не передаётся по наследству, но у него должна быть устойчивая физическая основа, почему и не безразлично, рождён ли человек первым или последним, от сильных и молодых родителей или от ослабевших и старых».

Мне кажется, это утверждение не бесспорно – бывает по-разному. Первым делом подумалось тут о моём отце, у которого было ещё больше братьев и сестёр, а сам он родился последним, тринадцатым ребёнком у совсем уже не молодых родителей. И среди его братьев и сестёр тоже были дельные и энергичные, но талант достался одному ему – «поскрёбышу», как называла его мама Ульяна Ивановна.

Подумать об отце побудила и запись от 17 февраля 1831 года:

«– Люди почему-то считают, – смеясь, говорит Гёте, – что надо состариться, чтоб поумнеть, на самом же деле с годами только и хлопчешь, чтобы остаться таким же умным, каким ты был прежде. Поднимаясь по ступеням жизни, человек, конечно, меняется, но разве он смеет сказать, что становится лучше, не говоря уж о том, что в двадцать лет он о многом судит не менее правильно, чем в шестьдесят. И если писатель оставляет нам памятники, созданные в ту или иную пору его жизни, важно лишь, чтобы у него имелся врождённый талант и добрая воля, чтобы он всегда обладал чистотой зрения и восприятия и говорил так, как думает, не преследуя никаких побочных целей. Тогда всё им написанное, если оно было правильно в пору своего возникновения, останется правильным и впредь, как бы впоследствии ни развивался и ни менялся автор».

Здесь возникают удивительные переключки с жизненной и творческой судьбой отца.

Из воспоминаний писателя Алексея Белянинова:

«В дни его шестидесятилетия я рассказал Ивану Петровичу – про Маршак. Как Маршак на Первом Всесоюзном совещании молодых писателей, в 1947 году, а ему самому тогда недавно исполнилось шестьдесят, наставлял меня: “Никто ничего не понимает. Сорок лет не возраст. Пятьдесят не возраст. Даже в пятьдесят девять я ещё ничего не понимал. Понимать начинаешь – когда шестьдесят. Самое лучшее время”.

– А вы – тоже так, Иван Петрович?

– Н-не знаю...

– А что же – Маршак?

– А что другое оставалось говорить Самуилу Яковлевичу?

Не любил в себе то, что связано с возрастом».

Вспомнилось ещё, что на склоне лет Иван Петрович хотел издать три своих первых романа – «Горькую линию», «Ненависть» и «Поединок», написанные им в молодости, – в их первой редакции...

Как писал отец 22 июля 1971 года, «к такому решению пришёл я потому, что все эти три моих основных вещи были в своё время не только высоко оценены А. М. Горьким, но одна из них – роман “Поединок”, вышедший в Московском Гослитиздате в 1936 году, был собственноручно отредактирован А. М. Горьким. Машинописная рукопись этого романа с правкой А. М. Горького хранится в настоящее время в Институте мировой литературы, куда я передал её в своё время по просьбе этого Института».

* * *

Долго ждали своей очереди две стоящие на полке рядом книги о Гоголе. Первая – роман «Совесть» неизвестного мне автора, а вторая – Игоря Золотусского из серии «Жизнь замечательных людей».

А толчком к чтению, как ни странно, послужили два маленьких почтовых конверта бог знает какой давности, хранящиеся в ящике моего письменного стола. В них – мои письма отцу из Алма-Аты. На конвертах адрес: Пресновка, Северо-Казахстанская область, улица Гоголя, 1...

Насколько беднее был бы мир моего детства, если бы не адресованные мне, «Илье Иванычу Шухову», как обозначено на конвертах, письма отца, своеобразные по языку и стилю и представляющие самостоятельную художественную ценность.

Вот, скажем, отцовское письмо из Пресновки мне, десятилетнему, от 16 сентября 1949 года:

«Здравствуй, здравствуй, моя Илюшка!

Во первых строках нашего письма шлём мы вам низкий поклон от всех наших северных степей и пашен, от нежаркого в эту пору нашего солнушка, от ласточек, которые уже собрались к отлёту, от ежей, которые уже скоро начнут зарываться в листья, от озера, которое без умолку и днём и ночью шумит и шумит под моим окном... Во вторых строках крепко, крепко обнимаем вас за ваше хорошее письмо, которое мы вчера только получили. Маменька говорит, что в письме вашем больше ошибок, чем слов. Ну, мы за это на вас не в обиде. Мы сами с такими ошибками порой пишем, что директор бы ваш пришёл в ужас. Я почему-то тоже боюсь маленько вашего директора.

Вспоминаю, как хорошо нам жилось с вами минувшим летом в гостинице «Москва», и как там все тебя звали Маленький Шухов, и как я ездил в гости к тебе в Ильинское, и как мы шлялись с тобой по дороге во ржи Подмосковья.

Ну, ничего. Поскучать в разлуке друг о дружке иногда хорошо и полезно. Настоящая дружба похожа на костёр, а разлука – на ветер. Если дружба не настоящая, не большая, то разлука-ветер её погасит, а если, наоборот, дружба большая, то разлука-ветер раздует её в большой огонь, как раздувают степные наши ветры в пожары маленькие костры в степи...»

Каждая строка этого письма и по сию пору зримо напоминает мне о былом. Скажем, вот это лукавое: «Я почему-то тоже боюсь маленько вашего директора» – воскрешает образ Сергея Филипповича Полякова – сам удивляюсь, что на всю жизнь запомнил его имя, – «начальника» нашего мужского заведения, который обитал здесь же, в приспособленном под жильё классе у торца со стороны улицы Дзержинского, и без которого, кажется, нельзя было нашу школу представить...

Так или иначе, все ранние впечатления давно ушедшей в прошлое поры отразились через годы в том, что привелось мне написать и в прозе, и в стихах. Без тех впечатлений не было бы ни моей повести в миниатюрах, эскизах, воспоминаниях, которую, переключаясь с отцовским письмом, я назвал – «Ветер разлуки», ни документальной повести-эссе «Годы без отца, или Размышления на перепутье». Не было бы также ни венка сонетов «Земли родной неброские картины», ни посвящённой памяти отца поэмы «Люблю и помню»...

Хранится у меня и общая тетрадь в твёрдом переплёте, – одно из редкостных свидетельств нашей тогдашней душевной близости. Озаглавлена тетрадь: «Илья Шухов. Моё летнее путешествие. 1949 г. Алма-Ата – Москва – Подмосковье – Северный Казахстан». Для меня, десятилетнего, то было огромное событие. Впервые довелось вместе с отцом уехать так далеко. Ему было важно почему-то, чтобы я обязательно вёл дневник. Несмотря на суматоху столичной жизни, он почти

каждый день находил время, саживался рядом за стол, терпеливо следил, как я пишу. И конечно, многое мне подсказывал, что и делает теперь эти по-детски наивные, небезупречные с точки зрения правописания записи своеобразным документом, озарённым одновременно радужным и печальным светом.

«28 июня. Сегодня мы были в Союзе писателей СССР. Там был приём иностранных писателей, которые приезжали к нам на юбилей А. С. Пушкина. Потом мы обедали в Центральном доме литераторов. Мы с маменькой ели щи, а папенька – окрошку. В гостиницу мы шли пешком. На улице М. Никитской мы видели дом, в котором жил А. М. Горький. В этом доме в гостях у А. М. Горького был в 1934 году мой папа. Потом мы шли по Тверскому бульвару. Папа говорит, что по этому бульвару гулял А. С. Пушкин. Я видел на этом бульваре знаменитый памятник А. С. Пушкину.

4 июля. Сегодня мы с папой ходили в издательство “Советский писатель”. Мы поднялись на лифте на 12 этаж. Я был на крыше этого очень высокого здания на ул. Горького в Гнездиновском переулке, в самом центре Москвы. С крыши хорошо видно всю Москву. В этом издательстве будет печататься книга моего папы “Горькая линия”.

7 июля. Завтра я уезжаю в пионерский лагерь Союза писателей СССР, в подмосковное село Ильинское. Папа шутит, что я еду в лагерь моего имени.

8 июля. Сегодня мы с папой приехали в пионерский лагерь. Это лагерь детей писателей. Председатель нашего третьего отряда Юля Пушкина. Юля – праправнучка А. С. Пушкина. Мы с папой долго ходили по окрестным полям села Ильинского. Здесь очень красивые места. Папа говорит, что это настоящая природа нашей России. Она очень похожа на наш Северный Казахстан. Мы долго гуляли с папой по дорожкам во ржи, в которой много васильков. Но поднялись тучи, началась гроза, и мы с папенькой вернулись в лагерь.

12 июля. Сегодня у нас в лагере был карнавал и торжественная линейка. Потом была военная игра. Ко мне приезжал папа, и мы с ним много гуляли. Я видел поле, на котором в 1941 г. шла битва с немцами за Москву. Я видел подбитые фашистские танки, самолёты и разбитые орудия.

21 июля. Сегодня в 2 ч. дня мы с ребятами уехали из лагеря в Москву. Мы ехали на автобусах, и приехали в Дом Герцена. Хорошо было в лагере. Я познакомился со многими московскими ребятами. В нашем лагере жила испанская девочка Санчес Лусита. К нам приезжал замечательный кукольный театр артиста Образцова. Мы видели постановку “По щучьему веленью”. Это был очень смешной и весёлый спектакль, в котором играли говорящие и поющие куклы.

В лагере я написал в нашу стенгазету заметку “Поход на пруд”...»

То была моя первая в жизни газетная «публикация».

Почему-то не записал я тогда, что в лагере, а может, даже и в одном со мной пионерском отряде, был сын всемирно известного гроссмейстера Ботвинника и что однажды к нам приезжал сам гроссмейстер и дал сеанс одновременной игры сразу на всех шахматных досках, какие только у нас нашлись...

...Вот как далеко в сторону увели меня от книг о Гоголе два маленьких конверта с адресом отцовского дома в Пресновке.

Что же касается книг... Роман, о котором упомянул в начале, читать не потянуло. Увяз в первом же длинном, на полстраницы, абзаце из одной-единственной разветвлённой фразы – подробного описания гоголевской внешности, кое уди-

вило своими несуразностями: «Довольно высокий, пожалуй, самого среднего роста...», «с добродушной усмешкой в небольших, красиво разрезанных карих глазах, такой странной на неправильном остроносом лице, хотя очень бледном, но здорового ровного цвета...»

Отложил я это сочинение, напечатанное под титулом «Русские писатели в романах», в сторону и взялся за фундаментальный, в пятьсот с лишним страниц, том Игоря Золотусского. Здесь подробно, чуть ли не по дням и часам, прослежен жизненный путь Гоголя, раскрыта история создания его нестареющих художественных творений. Хотя и окончил я в своё время филологический факультет университета, где русских классиков изучали в полном объёме – по Гоголю был, кажется, даже специальный курс, – а вот сейчас кое-что узнал о нём впервые. О том, например, что повесть «Шинель» выросла из анекдота, из пустяковой истории, которую рассказал как-то на вечеринке один из приятелей Гоголя. Было это, по свидетельству П. В. Анненкова, ещё в тридцатые годы. Кто-то рассказал, как один чиновник, всю жизнь мечтавший иметь ружьё, откладывая из своих скудных средств, совершил наконец драгоценную покупку. «В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив ружьё перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришёл в себя только тогда, когда, взглянув на нос, не увидел своей обновки. Ружьё было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лёг в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружьё, возвращён он был к жизни, но о страшном событии уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице...»

Анекдот оканчивался благополучно, и все посмеялись ему. Один Гоголь «выслушал его задумчиво и опустил голову». В тот вечер, быть может, и зародилась «Шинель»...

Много таких тонких авторских наблюдений в книге Золотусского. Но всё же мне хочется, отталкиваясь от гоголевской темы, вернуться снова на шуховскую колею.

Хранится у меня страница «Литературной газеты» за 24 июня 1981 года со статьёй украинского писателя Олесь (Александра Терентьевича) Гончара «Сегодня и завтра», где рассказывается о примечательном событии, подобное которому в теперешнее «постсоветское» время трудно даже себе представить.

Вот что писал Олесь Гончар: «Читатели одной из школ Кзыл-Орды прислали мне недавно вместе с письмом несколько книг, выпущенных в Алма-Ате на русском языке издательством “Жазушы”, и среди них “Пресновские страницы” Ивана Шухова.

Я знал, конечно, об этом талантливом русском прозаике, но и для меня было на редкость приятной неожиданностью то, как искренне, по-чеховски душевно пишет он о моих земляках-переселенцах с Украины, которых судьба угнала на восток в далёкие предреволюционные годы. Русский впечатлительный мальчик заглянул как бы в самую душу людям, переселившимся издалека, с восхищением открывая для себя красоту их песен, гуманность народных обычаев, музыку впервые услышанной речи. И с сожалением подумалось, что эти напоенные поэзией братства страницы у нас на Украине ещё не переведены».

«Напоенные поэзией братства...» Помню, как тронули меня тогда эти слова. И – под их впечатлением – неделю спустя, тридцатого июня, я отправил в Киев, в Союз писателей Украины, на имя Олеса Гончара небольшое письмо.

«Дорогой Александр Терентьевич!

Пишет Вам сын Ивана Петровича Шухова – Илья. С большой радостью и волнением прочитал я в “Литературной газете” Ваши добрые слова о последней книге моего отца – “Пресновские страницы”. Это, действительно, по мнению многих прекрасные, лиричные, светлые и в то же время печальные автобиографические повести, своего рода лебединая песнь Ивана Шухова, горячо любившего родную землю и людей. Жаль, что смерть помешала ему продолжить работу над этой книгой. Но и то, что он успел сделать, близко и дорого людям. Тому свидетельство – и Ваш замечательный, душевный отзыв. Огромное Вам спасибо!»

Вместе с письмом послал я и свою книжку «Время открытий», в которой есть раздел об отце – «У истоков “Пресновских страниц”».

И – вскоре пришло ответное письмо:

«Уважаемый Илья Иванович!

Получил Вашу книгу, ознакомился с ней, с большим интересом прочёл «У истоков “Пресновских страниц”», Считаю, что Вы свой сыновний долг выполнили с честью.

Спасибо!

Ол. Гончар

16.07.81

Киев».

Из статьи в Краткой литературной энциклопедии я узнал, что Александр Терентьевич – земляк Гоголя. Родился на Полтавщине, в селе Суха, в 1918 году, и тоже, как отец мой – в крестьянской семье. Думаю, ещё и поэтому шуховские повести о детстве, о крестьянском труде так пришлись ему по душе...

А память возвращает меня в начало пятидесятых, когда отец летом брал меня с собой, и мы колесили на его «Победе» по вольным, непаханым степным просторам. Заезжали и в аулы, и в станицы, и в переселенческие сёла. Так что и мне повезло в детстве увидеть воочию то, о чём я позже прочёл в «Отмерцавших маревах» – повести, где Иван Петрович вспоминает о своих детских дорожных впечатлениях от первой поездки с родителями из Пресновки в город Кокчетав.

«Запечатлевшейся мне на всю жизнь неожиданностью явились для меня впервые увиденные мною в этой дороге очень какие-то картинные, непривычно опрятные, уютные сёла. С их никогда не виданными мною доселе белостенными домами, крытыми в навес золотой соломой хатами-мазанками. С непременно – возле каждой такой хаты – одинаковыми густо заросшими разномастным древесным ягодником палисадниками, опоясанными аккуратными ракушечными плетешками. С неслыханно опять-таки просторными – длиною в добрую версту – приусадебными огородами, ломившимися от бахчей, от обилия созревших увесистых подсолнечных решёт, от рослой, щедро унизированной восковыми початками кукурузы.

То были сёла переселенцев – выходцев с Украины.

...Меня буквально заворожил, околдовал здешний говор. Певучий. Ласковый. Со смешинкой. Доверительный. Незлобивый. И, конечно же, совсем свели меня с ума впервые услышанные в этих сёлах украинские песни».

И вот – ещё один примечательный факт того, ушедшего в прошлое, времени: уже в 1984 году повесть «Отмерцавшие марева» из шуховских «Пресновских страниц», переведённая на украинский язык, появилась в очередном выпуске литературно-художественного альманаха «Созвездие», вышедшем в киевском издательстве «Дніпро».

...А в том самом отцовском доме, что у берега станичного озера, где когда-то проходили счастливые дни моего детства, теперь – музей Ивана Петровича Шухова. И адрес его остался почти что прежним: Пресновка, улица Гоголя, 5.

* * *

Когда умирал артист Георгий Бурков, он сказал жене, что видит себя в какой-то каюте рядом с Эдиком (футболистом Эдуардом Стрельцовым, с которым они дружили).

Георгий умер, а через три дня ушёл из жизни Эдуард, и похоронили их рядом. Об этом я где-то прочёл.

А теперь – о том, чему был свидетелем сам.

Было это в семьдесят седьмом. В середине апреля тяжело заболел Нинин родственник. И двадцать четвёртого он умер. Человек в возрасте, но ещё не старый, он до последних дней работал.

Двадцать шестого, в день похорон, мы собрались в домике на окраине. Позже подъехал и мой отец. Покойного Евгения Петровича он знал около пятнадцати лет, называл его «мировым мужиком».

Войдя в тесную, заполненную людьми комнату, Иван Петрович с минуту постоял у гроба. Потом мы вдвоем вышли в проулок. Отец молчал, только коротко, глухо покашливал. Это, как я давно заметил, служило у него признаком глубокого смятения. Так же молча вернулись и присели в саду у дома.

Вскоре к нам подошла вдова, и Иван Петрович сказал ей: «Ну, я сейчас пойду, а дня через три обязательно к вам приеду».

Я проводил отца до такси...

Через три дня его не стало...

* * *

В мемуарной повести «День Брусиловского» мой добрый знакомый, литератор и музыковед Наум Григорьевич Шафер увлечённо пишет о своих давних встречах и беседах с известным композитором Евгением Брусиловским... Труд серьёзный, и будет, можно надеяться, по достоинству оценен читателями и критикой. Пока же вещь ещё не закончена, и её рецензирование – не моя задача. Просто – имя героя повести для меня не пустой звук... Брусиловский в мемуарах, опубликованных в своё время в «Просторе», вспоминал, что Шухов и Павел Кузнецов, известный переводчик акына Джамбула, собирались писать либретто к опере «Амангельды», заключали с композитором договор, но война не позволила замыслу осуществиться...

Ну, вот и мемуары Наума Григорьевича. Блестяще написанное повествование о личных встречах и беседах автора, тогда ещё молодого, делавшего первые шаги в композиторском искусстве, с маститым, умудрённым годами мэтром очень оживляют острые, порой запальчивые диалоги на равных – несмотря на большую разницу в возрасте – о музыке, литературе и вообще о жизни.

Не откажу себе в удовольствии привести пример одной из таких словесных баталий.

«Брусиловский:

– Разрешите вас предостеречь. Если станете профессиональным музыковедом, то перестанете быть композитором.

– Почему? Вот, например, академик Асафьев является нашим самым главным музыковедом и в то же время пишет отличную музыку.

– А почему вы решили, что он пишет отличную музыку?

– Да потому, что его балеты “Бахчисарайский фонтан” и “Пламя Парижа” не сходят со сцен музыкальных театров.

– Хорошо. Напойте мне хоть одну мелодию из этих балетов.

Я откашлялся, поднатужился и... ничего у меня не вышло.

– Евгений Григорьевич, – обречённо промолвил я, – сдаюсь, у меня ничего не получается.

– Во-о-от! Во-о-от! – с торжеством воскликнул Брусиловский. – А из балетов Чайковского вы бы мне пропели не только какой-нибудь вальс, но и серьёзный симфонический кусок. А с Асафьевым у вас ничего не получится, как бы вы ни тужились.

– Странно. А почему?

– Да потому, что это не композиторская, а музыковедческая музыка... она высоко профессиональна, но абсолютно безлика... Асафьев сочиняет музыку во всеоружии своей научной академичности. Формально под неё нельзя подкопаться: всё правильно, всё безупречно. А души нет. Нет искрящихся нот».

Этот разговор напомнил мне перекликающийся с высказанным суждением лаконичный отзыв о поэте Брюсове из давнего письма Ивана Петровича моей матери: «Я Брюсова не люблю – холодный, рассудочный поэт». Подумалось, резонно было бы по аналогии с Асафьевым сказать, что брюсовские творения – это не столько стихи, сколько образцы академически правильной, выверенной, стиховедческой поэзии. Так что можно с уверенностью предположить: прочитай отец приведённый выше диалог, согласился бы с мнением Брусиловского.

Хотя, как писал я в «Слове об отце» вскоре после кончины Ивана Петровича, в его музыкальных привязанностях, как во многом другом, было немало странного. Он, например, не признавал скрипку, совершенно не принимал балет, из опер мог слушать только одну – «Евгений Онегин». А вот родственную скрипке виолончель – любил.

Любил русские народные песни, песни сибирских казаков, в восторге был от цыганских напевов, о чём писал в своих «Пресновских страницах». И сам оставил нам подлинный шедевр – звучавшую в фильме «Вражья тропа» по его роману «Ненависть» песню «Позарастали стёжки-дорожки».

* * *

В одном рассказе Чехова есть причудливый образ: «облако, похожее на пушку с лафетом». А в шуховском романе «Горькая линия» встречается «облако, похожее на беркута». Любопытно, что Максим Горький, которому отец посылал в 1931 году ту первую свою книжку, похвалив её, отметил и «кое-какие промахи».

«Облако, похожее на беркута, – писал он в ответ Шухову, – напоминает слова Треплёва, одного из героев “Чайки” Чехова».

Даже будь оно так, мне кажется, не было бы особого греха. Казус в том, что у Треплёва нет таких слов, о которых напоминало бы шуховское облако. Алексей Максимович, вероятно, имел в виду другого персонажа пьесы – Тригорина.

Но это я просто попутно. Всё же я благодарен Горькому – он словно подсказал тему, которую литературоведы могли бы обозначить примерно так: образы птиц в поэтике Ивана Шухова. А материал для этого богатый. Одно из ранних лирических стихотворений отца так и называется – «Птицы».

Куда летят, куда проходят стаи
Тоскующих по гнёздам птиц?
Быть может, до озёр не долетая,
Они уронят крылья у станиц.

Эту начальную строфу я поставил эпиграфом к своей посвящённой отцу поэме «Люблю и помню».

Птицами – здесь и лебеди на плёсе, и журавли, и синицы, и жаворонки, и коростели, да мало ли ещё – населены шуховские стихи и проза. Но в особом почёте, если можно так сказать, – мощные, гордые и вольные степные беркуты, ястребы и орлы.

Вот начало написанного в 1946 году стихотворения «Сказка»:

Придумай сказку про степной ковыль,
Похожую на песню и на быль.
Чтоб беркуты дремали по курганам,
Чтоб лебеди летели над туманом...

В «Моей поэме» – так отец назвал своё эпическое стихотворное произведение – он признаётся:

Мне от роду дорог до боли
Тот мой отчий заветный край, –
Не свободой там веяло – волей
От летучих сайгачьих стай!
От державных орлиных облётов
Царства марев и миражей,
От падения птиц, и от взлётов,
И от грозных их виражей!

А вот – из романа «Ненависть»:

«Высоко в нежно-зеленоватом, не остывшем от дневного накала небе дрались орлы. Огромные, позолотевшие от заката птицы, круто развернувшись с кругового полёта над присмирившей вечерней степью, то и дело стремительно бросались один на другого в лобовую атаку. С разлёта ударившись грудь в грудь, они на мгновение как бы замирали в воздухе, а затем, кувыркаясь, штопором падали вниз, и ржавые перья их вперемешку с пепельно-серым пушком разлетались в разные стороны. Камнями падая с огромных подоблачных высот, птицы, казалось, должны бы вот-вот в прах разбиться о землю. Однако за мгновение до этой как будто неизбежной гибели они, разминувшись, вновь взмывали под облака. Там, маневрируя в круговых полётах, зорко присматриваясь друг к другу, они снова сходились в яростную атаку».

Ещё у меня перед глазами – зримый образ: беркут, который парит высоко над степью, а затем, опустившись на вершину одинокого древнего кургана, неспешно расправляет и подбирает свои огромные, могучие крылья...

Прочтёшь такое – и почувствуешь, что «облако, похожее на беркута» – это первородный, ни у кого не заимствованный, чисто шуховский образ. И пьеса Чехова здесь совсем ни при чём.

* * *

В томе «Александр Вертинский. Дорогой длиною...», вышедшем в 1991 году в московском издательстве «Правда», встретилась одна фраза, которая чем-то зацепила: «Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далёких стран. Всё, что я видел, всё, чем восхищался, – я отдаю за один самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на родине!...»

Подобное я где-то раньше читал... Интуитивно потянуло достать с полки отцовскую – полувековой давности – книгу «Родина и чужбина». И оказалось, не напрасно. На первой же странице увидел то, что искал – взятое отцом в качестве эпитафии высказывание Константина Паустовского: «Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки».

Какая близкая переключка! Досужий литературовед мог бы отметить даже и одинаковое количество слов в обеих цитатах. Но это я так, попутно...

Слова Паустовского как нельзя лучше подошли к книге Ивана Петровича, состоящей из двух разделов: «Родина» и «Чужбина». Это вызывает у меня некоторые связанные с отцом ассоциации. «Родина» – так называется один из шуховских романов, вышедший в 1936 году в Алма-Ате. А что касается чужбины... Вспоминаю: в сборнике пушкинских стихов с отцовскими пометками отчёркнуты карандашом строки стихотворения «19 октября»:

Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

И, конечно, ту цитату для эпитафии отец выбрал не случайно. Он так же преданно любил свою малую родину – станицу Пресновку, станичное озеро в окружении степей и берёзовых колков. В ноябре 1949 года он писал моей матери: «Только при взгляде на притихшую степь под снегом, на скованное льдом, умолкнувшее наконец озеро, на синюю кайму далёких рощ удивительно хорошо и тихо становится на душе. Милый, благословенный край. Хорошо, что бог наградил меня чувством сыновней любви к тебе и благословил меня на вечные муки в поисках слова, которым смог бы я выразить эту любовь хотя бы в одной из тысяч исписанных мною страниц...»

Иван Петрович высоко ценил художественный дар Паустовского. Летом 1974 года, после того, как он, не по своей воле расставшись с «Простором», поехал, чтобы как-то отвлечься, в Прибалтику, писал оттуда просторовцу Юрию Герту: «В Дубултах – в так называемом Доме творчества – я был на малоуютной даче.

в печальной комнате, в которой жил и, говорят, пил и написал свой гениальный “Дождливый рассвет” Паустовский. Эту его вещь – я лично – могу сравнить только с “Чистым понедельником” Бунина...»

Примечательно: среди книг в кабинете отца в доме на углу проспекта Абая и улицы Мира, позднее переименованной, где он жил последние семнадцать лет, были только два собрания сочинений – Бунина и восьмитомник Паустовского издательства «Художественная литература». В этом же издательстве выходили – при жизни Ивана Петровича и после его кончины – романы «Горькая линия», «Ненависть», повести «Пресновские страницы».

А в шуховском «Просторе» были опубликованы воспоминания о Паустовском Юрия Казакова «Поедемте в Лопшеньгу».

Что касается Александра Вертинского... Помню, отец был рад подаренной кем-то только что выпущенной фирмой «Мелодия» большой грампластинке с записями певца, слушал её иногда в одиночестве или в компании частенько gostивших у него «ребят» – просторовцев.

В том же письме из Прибалтики отец вспомнил слова одной из его песен: «Здесь живут чужие господа, И чужая плещется вода». И признался: «С грустью я думаю о незавидной судьбе великих российских скитальцев – Рахманинове, Шаляпине, Бунине...»

«Чужие господа» живут теперь и в доме за рядом состарившихся берёз, мимо которого случается мне порой проходить. Иван Петрович любил эти берёзы, напоминавшие ему о тех, что шумят на ветру на его малой родине...

Правда, вспоминаю слова из отцовского письма: «Унывать я подолгу не умею» – и на душе становится немного легче...

* * *

Просматривал папки с материалами отцовского архива и перечитал написанное тонким, убористым почерком на маленьком листке из блокнота письмо, на которое в первый раз, когда составлял опись, не обратил особого внимания. Теперь же оно показалось мне интересным, выразительным документом не только творческой биографии отца, но и, говоря словами из поздней шуховской поэмы, тех давних, ушедших в легенду годов.

«Уважаемый тов. Шухов!

Обращаюсь к Вам от имени вновь организуемого театра, которому присваивается имя Лен. Облсполкома и деятельность которого направляется на обслуживание массового колхозно-совхозного зрителя.

Директор и художественный руководитель театра – тов. Михайлов, Николай Георгиевич. В настоящее время всё его внимание целиком поглощено чисткою, проводимую в областкоме Партии, и вот, ввиду спешности вопроса тов. Михайлов и просил написать Вам меня, как главного режиссёра театра.

Речь идёт об использовании Вашего романа “Ненависть” для исполнения на театре и, прежде всего, конечно, о Вашем принципиальном на то согласии. Договорившись о нём, нетрудно будет, думается мне, перейти к совместному разрешению и всех последующих вопросов.

Руководство театра заинтересовано в скорейшем получении Вашего ответа, так как оно желало бы посвятить Вашему роману свою первую постановку, намеченную на февраль 1934 года.

Ваш ответ просим направить по адресу: Ленинград, 104, пр. Володарского, 24, кв. 76. Тел. 6-85-34. Гайдебурову Павлу Павловичу.

Мы же вынуждены писать Вам на адрес Московского оргкомитета, так как в ленинградском отделении не осведомлены, к сожалению, ни о Вашем адресе, ни о Вашем имени и отчестве...

С искренним приветом.

1933. 2 ноября. Ленинград.

Пав. Гайдебуров».

Было ли у этой истории продолжение, не ведаю...

* * *

Стал читать воспоминания Бунина «О Чехове» – и с первых же страниц заметил, как много у Антона Павловича сходства с жизненной, писательской судьбой, личностью и характером моего отца.

Начать с детства. Будущий классик родился в большой семье таганрогского купца третьей гильдии Павла Георгиевича Чехова, был младшим среди нескольких его братьев и сестёр. С малых лет Антоше пришлось работать – отец сразу отметил его исполнительность и чаще других засаживал его за прилавок в качестве «хозяйского ока».

В многодетной семье гуртоправа Петра Семёновича и Ульяны Ивановны Шуховых рос и Ваня – тоже самый младший из двенадцати его братьев и сестёр. И так же сызмальства трудился – уже с десяти лет работал на пашне.

Вот что пишет он об этом в повести «Трава в чистом поле». «Бытовало в пору моего детства в наших краях такое ёмкое слово – бороноволок. Порождено оно было глаголом – боронить, волочить борону. Едва достигал парнишка семи годов от роду, его уже почитали в семье за работника, а нередко при особой нужде, бывало, отдавали на круглое лето в чужие люди – по найму.

Да это и был работник. С первых же дней ранней весны до глубокой осени бороноволок не слезил с лошади, то волочившей в дни сева по свежей пахоте борону, то подтягивавшей – тоже волоком – копны душистого, как сотовый мёд, сена к стогам и скирдам...

Удивительно близки отзывы писателей об их родителях.

Чехов: «Отец и мать единственные для меня люди на всём земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни...»

Шухов: «Всем, что во мне есть хорошего – в человеке и литераторе, – обязан я моим неграмотным родителям, и в первую очередь – моей матери Ульяне Ивановне Шуховой. Это была простая станичная казачка, очень религиозная, очень общительная, очень доверчивая и кроткая женщина. Будучи совершенно неграмотной, она знала наизусть уйму русских народных сказок, поговорок, прибасок, песен. И всем этим с большой душевной щедростью истинно русской женщины делилась со мной – последним её ребёнком из десяти моих старших братьев и двух сестёр».

Сходным было и их – Чехова и Ивана Петровича – отношение к творчеству, писательскому труду.

Из воспоминаний Бунина:

«– Вы много пишете? – спросил он (Чехов) меня однажды.

Я ответил, что мало.

– Напрасно, – почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном. – Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь».

А вот – из шуховского письма 29 марта 1954 года одному из друзей-литераторов.

«Говоришь, этой зимой мало писал, больше учился писать? Но лучшая школа для нас – работа, а самый злой недуг у нас – лень... Нет, мы должны писать, писать и писать, несмотря ни на что, и тогда что-нибудь у нас, глядишь, и получится. Работай, как сукин сын, как раб своих страстей, как невольник, и это – самая чудная школа».

В другом письме, моей матери, 8 октября 1949 года Иван Петрович признавался: «Всё-таки очень и очень жестокая вещь искусство. Оно требует от нашего брата полной отречённости, внутренней собранности и совершенно чудовищной работы».

28 ноября 1953 года сообщал ей же из Пресновки: «Пишу я – это ты знаешь – трудно, не более страницы в день, точнее – в сутки. Зимний день короток. А вечером не могу работать из-за скверного света. Нормальный же свет бывает у нас после полуночи, когда в МТС прекращают электросварку. Поэтому в 10 ложусь в постель, а в 2 встаю и работаю часа три глубокой ночью».

Во многом схоже было у Чехова и Шухова начало их писательского пути. Как пишет Бунин, Чехов «начал работать в большой семье, терпевшей в ту пору его молодости нужду, и работал мало того что за гроши, но ещё и в обстановке, способной угасить самое пылкое вдохновение: в маленькой квартирке, среди говора и шума, часто на краешке стола, вокруг которого сидела не только вся семья, но ещё несколько человек гостей-студентов».

В подобной обстановке работал над своим первым романом и молодой, двадцатичетырёхлетний Иван Петрович. Жил он в то время в Москве, снимал крохотную комнатёнку, где не было даже стола, и потому договорился в редакции газеты «Сельскохозяйственный рабочий», в которой он был литературным сотрудником, что по утрам будет сдавать материалы в номер, а потом здесь же, в редакции, писать свой роман. Вот что вспоминает об этом бывший ответственный секретарь газеты Михаил Арсеньевич Величко. «Во второй, проходной комнате редакции, где ютилось больше половины сотрудников, в противоположном от двери углу, возле окна, стоял маленький столик. Шухов переносил сюда свой стул, чернильницу, стопку плотной линованной бумаги, нарезанной длинными полосами из какой-то старой бухгалтерской книги, усаживался лицом к окну и удивительно тонким, без нажима почерком выстраивал на линейках букву за буквой.

В комнате было шумно. Но Шухову, казалось, ничто не мешало. Он, словно каторжанин, прикованный к тачке, изо дня в день сидел за столиком, отрешённый от окружающего и всецело погружённый в мир, рождаемый его воображением.

...Не прошло и года упорного труда, как в один из вечеров Шухов показал мне страницу рукописи, на которой было выведено слово: “Конец”. В тот же вечер он окрестил своё детище – “Горькая линия”.

Так я стал невольным свидетелем рождения первого романа Ивана Петровича Шухова».

О следующей своей книге отец писал в 1932 году: «Так же, как и над первым романом, сидел я над “Ненавистью” восемь месяцев без передышки. Но работа давалась уже труднее. Так, некоторые главы – собрание в юрте и на хуторе, соревнование на уборке и концовка – переделывались до 18 раз – 18 рукописных вариантов этих глав лежат в моих папках».

...Ещё одна черта Чехова, которую особо отмечает Бунин: «Он радовался от всего сердца всякому таланту».

То же самое можно сказать и об Иване Петровиче. Он тоже искренне радовался успехам литераторов, их таланту, художественному мастерству, порою с восторгом отзывался о том, что читал – книгах, журнальных публикациях.

Или вот – об отношении к торжествам и чествованиям.

Бунин «О Чехове»:

«– Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать.

– Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!»

Так же не мог терпеть эти церемонии Иван Петрович.

«Два шуховских юбилея – ему исполнялось шестьдесят лет и семьдесят. Оба раза неотрез отказывался от всяческих публичных торжеств.

– Ну-у... Начнут отпевать...» – так пишет в своих воспоминаниях сотрудник «Простора» Алексей Белянинов, работавший в журнале все одиннадцать «шуховских» лет.

Среди бунинских записей о Чехове затронула и такая: «Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек ни был».

Как будто – о моём отце! Можно много об этом говорить, но просто приведу фрагмент письма Ивана Петровича из Пресновки моей матери 14 ноября 1949 года.

«Праздники провёл так себе. 6-го был на райкомовской вечеринке. Скука смертная... 9-го за мной пришла целая делегация трактористов. Не мог отказать им, пошёл с ними в гости к председателю колхоза. И не пожалел. Чудесные люди. Всё просто и мудро. Говорят – заслушаешься. Пляшут – дом стонет. Все наперебой рассказывали друг другу обо мне, о том, что я был таким же, как они, понимаешь. И вот, понимаешь, сижу с ними запросто, и песни пою, и водку пью, и пляшу. Всё это говорилось так, как будто меня там и не было. Один тракторист, здоровенный детина, говорит мне: “У меня, брат, Иван Петрович, документальная жизнь, хоть я и из небогатого быта!” Он же сказал: “Когда-нибудь, если шибко напьюсь, расскажу и про это!” Он же: “Праховая она бабёнка!” Нет, что за прелесть – народный русский язык, что за поэзия, что за чудо! Толстые и Бунины учились этому языку вот у таких самобытных, простых и талантливых людей, как наш тракторист Ваня Привалов».

В завершение – фрагмент из упомянутых выше воспоминаний А. Белянинова, в котором тема «Бунин – Чехов – Шухов» как бы сходится в одной точке.

«Зелёному ещё юнцу из Пресновки попала книга.

По старой, отменённой орфографии: Полное собрание сочинений. Издание Т-ва А. Ф. Марксъ: Петроградъ. Приложение к журналу «Нива» на 1915 г.

Товарищу он важно сказал:

– Вот... Стоит почитать...

Так непреходящей любовью стал – Бунин.

В письме другу юности Василию Квитко 8 мая 1929 года двадцатитрёхлетний Шухов писал: “Неисповедимы пути твои, господи”, – говорит Иван Бунин о любимой. Знаешь, Васенька, лучший это писатель, писатель, которого забывают старики и которого не знают наши “безусые энтузиасты” в литературе. Ах, эти энтузиасты! Они зубок знают авторские права, спешат печататься, а не знают ни изумительных стихов Полежаева, ни бунинского очарования, ни эволюции прищивинского мастерства, развернувшегося до идеальной простоты).

Не знаю, те ли, пресновские, два тома, пятый и шестой, переплетённые под одной тёмно-голубой коленкоровой обложкой, отдал мне Иван Петрович, когда у него на книжной полке встал полный Бунин.

Эту книгу он, долголетний её владелец, открывал порой наугад – где придётся, и, зачитываясь, тянулся за карандашом...

В мемуарном очерке о Чехове Шухов отметил:

«...кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он?»

«Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди».

Восклицательный знак поставлен рядом с теми строками, в которых Бунин приводит полушутливую, но и вполне серьёзную чеховскую мысль:

«Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять – и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал».

«Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порою, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде: одет был всегда так, что хоть в незнакомый дом в гости.

Руки у него были большие, сухие, приятные.

Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил».

На следующей странице:

«Что он думал о смерти?..

Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это.

Но так и не доказал».

Рукой Шухова против этих слов было написано: «Нет, доказал!»

Этой темы касается и писатель Юрий Осипович Домбровский в своей мемуарной статье «Памяти Шухова».

«“Не был, был, никогда больше не будет” – как выбито на плите на каком-то древнем римском кладбище.

Во время одной из наших прогулок (или посиделок, не помню) я прочёл эти слова, и Шухов – страшнейший жизнелюб – не омрачился, даже не задумался, а засмеялся: “Вот это уж никак не укладывается у меня в голове – никогда больше не будет”. “А будет?” – спросил поэт Ваня Калашников. “Обязательно, – ответил Иван Петрович. – И не единожды”.

Он редко говорил таким языком – и поэтому я запомнил это великолепное и твёрдое “не единожды”...»

* * *

«Степь.

Родимые, не знавшие ни конца ни края просторы. Одинокое ветряки близ пыльных дорог. Неясный, грустно синеющий вдаль росчерк берёзовых перелесков. Горький запах обмытой предрассветным дождём земли. Азиатский ветер, пропитанный дымом кизячных костров. Трубный клич лебедей на рассвете и печальный крик затерявшегося в вечерней мгле чибиса...»

Этими напевными, эпическими шуховскими строками, которые я знаю наизусть, начинается мемуарная статья об Иване Петровиче моего ровесника и друга, не так давно ушедшего из жизни поэта Владимира Шестерикова.

«Нигде я ещё не встречал, да, может быть, и не встречу более пронзительного проникновения в душу степи, да не какой-нибудь, а нашей, североказахстанской, – пишет Володя. – А “открыл” строки эти я в дальнем-дальнем своём детстве, и вовсе не у себя на родине, а вдаль от неё, в детском санатории “Балыкчи” в Южном Казахстане, куда меня отвёз только что демобилизовавшийся из армии отец.

Чувство разлуки с родителями, с отчим домом было настолько безутешным, что мой лечащий врач Валентина Михайловна принесла однажды с собой простенько изданную книжку в серовато-зелёной обложке – “Горькую линию” Ивана Шухова, и первые же строчки, прочитанные ею, увели меня за собой, на свидание со своей родиной.

Журчали серебристые арыки, одурманивающе пахла сирень, жаркими флажками пламенели маки, а я был там, где джигитовал пропитанный солью степных озёр и дыханием далёкой пустыни ветер, где кривой разорванной цепью тянулись с юга к родимому северу журавлиные ватаги.

Мне и поныне помнится эта старая потрёпанная книжка, верная спутница моего детства, ставшая для меня лекарством куда более сильным, чем дефицитный в ту пору стрептомицин».

Сколько приходилось мне читать откликов о творчестве моего отца, но Володино признание – особенное: книга Шухова – сильнее и целебнее лекарства!..

Много ли найдётся таких книг, о которых можно сказать подобное?

* * *

«Как посравнить да посмотреть

Век нынешний и век минувший...»

Грибоедовские строки пришли на ум, когда я прочёл отзывы современников о повести Чехова «Степь». Оценки – самые высокие. А. Н. Плещеев: «Это вещь захватывающая... Что за бесподобные описания природы, что за рельефные, симпатичные фигуры... Одним словом, я давно ничего не читал с таким огромным наслаждением». И ещё: «Я сегодня был у Салтыкова. Он редко кого хвалит из новых писателей. Но о “Степи” Чехова сказал, что “это прекрасно”, и видит в нём действительный талант». В. М. Гаршин отзывался о «Степи» восторженно и, по свидетельству И. Е. Репина, говорил, что таких перлов языка, жизни, непосредственности ещё не было в русской литературе. Л. Н. Толстой причислял «Степь» к лучшим произведениям Чехова.

Прочёл эти отзывы и подумал об отце. О том, как радовался он творческим удачам собратьев по перу. Свидетельство тому – и его письма, и воспоминания

многих литераторов.

Из писем Ивана Петровича моей матери.

«Непреренно прочти записки Ильфа, и ты увидишь за этими отрывочными, бессвязными фразами настоящего писателя, обаятельного человека, в котором много светлого ума, иронии и человеческой грусти. Вот здесь, в этом человеке чувствуется его огромная любовь к жизни, к литературе, большое внутреннее обаяние и культура. Посмотри, как просто и на первый взгляд незначительно всё у него в наблюдениях, в обрывках фраз и как в то же время умно, тонко, талантливо.

2.6.38 г.»

«Читала ли ты “Малахитовую шкатулку” П. П. Бажова? Вот это шедевр! Недавно он прислал мне эту свою книжку с трогательным автографом. Мы с этим изумительным стариком работали около двух лет в Уральской крестьянской газете. Премию он заслужил. Только я бы ему дал первой степени.

Ст. Пресновская, 1 июня 1943 г.»

Об Алексее Толстом.

«Нет, я не знаю в современной литературе вещи, равной его гениальной трилогии, и мастера, равного ему по знанию русского языка и русского народа.

Петропавловск, 12.3.45».

Об Андрее Платонове.

«В 7-й книжке “Нового мира” напечатан великолепный рассказ А. Платонова “Никита”. Рассказ всё об одном, всё о том же. Все рассказы этого превосходного и большого писателя в сущности одинаковы. Они проникнуты маниакальной страстью к очеловечиванию вещей и каким-то трагическим и зловещим светом, которым он озаряет детскую душу.

28.9.45».

О Дмитрие Мамине-Сибиряке.

«Взялся за его “Хлеб”... Гениальный писатель. Гениальная книга. Это лучше, пожалуй, “Дела Артамоновых” – самого лучшего горьковского творения... Какой язык! Какая наблюдательность! Какое мастерство! Я в восторге от этого писателя.

Пресновка, 10 авг. 49».

«Вот прочёл на днях в “Огоньке” рассказ С. Антонова – “В тихой станице”... Рассказ поистине превосходный, глубоко эмоциональный. Он весь из недомолвок и полунамёков. В нём есть то самое “чуть-чуть”, без которого нет настоящего искусства, как любил твердить Шалапин.

Пресновка, 29.10.52».

«Андрей Алдан?! Поклонись ему от меня. Я до сих пор помню его отличные строки:

Проходи же, полночь, проходи,
 Ни тайги, ни зверя не буди.
 И глаза, зелёные от страха,
 Закрывай, седая росамаха!

Это – поэзия.

28 ноября 53 г.»

Добавлю теперь ещё один штрих – из воспоминаний писателя Николая Почивалина. В 1949 году он, в ту пору провинциальный журналист, начинающий поэт и прозаик, напечатал в республиканской газете свой рассказ. И в тот же день

получил телеграмму из Алма-Аты: «С удовольствием прочитал рассказ...», затем ещё всякие хорошие слова и подпись: Иван Шухов... Телеграмма Шухова «вселила какую-то уверенность в дальнейшем, явилась той поддержкой, в которой на определённых возрастных переломах нуждается каждый пишущий... Что же касается самого рассказа, то признаюсь: несколько лет назад, обнаружив в своих архивах-залежах пожелтевшую газетную вырезку, я перечитал её с чувством неловкости. И подивился: надуманно, сентиментально, и что тут нашёл Иван Петрович, добрый человек, – уму непостижимо!..»

Так вот – много ли в наше время писателей, которые с таким же интересом и доброжелательностью, как когда-то русские классики, следят за творчеством своих коллег и стараются поддержать их? Как-то мы заговорили об этом с Ниной, и она довольно категорично сказала: Иван (так мы в семье называем отца) был последним. И в этом, мне кажется, она полностью права...

* * *

Позвонила вдова поэта Гафу Каирбекова – Бадеш. Предстояло 80-летие поэта, и ей хотелось, чтобы я написал что-нибудь к памятной дате.

Только повесил трубку, почтальон принёс бандероль от доброго знакомого. На ней – адрес: Павлодар, улица Жаика Бектурова...

Так сопряглись в одночасье два памятных для меня имени – Гафу Каирбеков и Жаик Бектуров. Того и другого, увы, уже нет на свете...

С Гафу – мягким, добрым, деликатным человеком – мне довелось работать довольно долгое время рядом, под крышей Союза писателей Казахстана: он – в журнале «Жулдыз», я – в «Просторе». Пришёл я туда в восемьдесят пятом, когда Гафу Каирбекович был уже одним из самых известных казахских поэтов. В том же году выпало мне знакомство и с Жаиком Бектуровым. Ровесник моего отца, он долгие годы возглавлял Карагандинское отделение Союза. А в Караганду я приехал вместе с небольшой группой немецких писателей, чтобы участвовать в Днях казахстанской немецкой литературы.

Прошло с тех пор немало лет, и подробности, конечно, забылись. Но сохранилась журнальная книжка «Простора» за тот же 1985 год с записанным для меня на обложке Бектуровым четверостишием на казахском языке с примечанием: «Вариант Габита Мусрепова». Это было начало известного среди казахских литераторов шуточного каирбековского экспромта, посвящённого моему отцу. В нём обыгрывалась знаменитая шуховская фляжка с коньяком, с которой он не расставался в промозглые осенние дни, вызывая зависть писательской братии.

Экспромт, по слухам, настолько великолепно звучит в оригинале, что вошёл с кое-какими вариациями в казахский фольклор, и вот была даже мусреповская версия. С самим же автором экспромта сблизила меня совместная наша поездка в Москву в феврале 1987 года на вечер памяти моего отца.

Выступили на том вечере – Давид Кугультинов, Ирина Стрелкова, Аким Тарази и Гафу. Позже Гафу Каирбекович передал мне текст своего выступления, озаглавленный «Слово о Шухове». Мне уже приходилось раньше цитировать его, но не грех привести здесь несколько фрагментов.

«Работая с Иваном Петровичем долгие годы в одном здании, – он тогда редактировал журнал «Простор», – я имел возможность наблюдать его будни, отмечать

те или иные стороны его характера, житейского поведения.

Шухов был душою прост, скуп на слова, зная истинную цену доброму желанию и суровому суду. Он держался просто и в то же время всегда независимо, часто поражая своим неоднозначным отношением к общепринятому. Он был крупным, большим в своих действиях и порой нервничал при виде мелких людей, не выдерживая их мизерных суждений. Даже в коротком знакомстве он мгновенно обнаруживал какое-то необыкновенное чутьё угадывать достоинства или недостатки собеседника.

Со мной он был по-отечески добр, относился как к сыну или младшему брату. Я больше любил его чудачества, когда он бывал похож на большого ребёнка. Как истинный талант, он тоже чудил перед всем светом открыто, никак не думая о кажущемся несоответствии чудачества с его солидной личностью, известным именем. Мне кажется, он не делал никому зла, чего-то недоброго, являясь редактором журнала, правда, не терпел бездарности во всём.

Как-то я сочинил о нём шуточный экспромт и, прослышав, что он стал известен Шухову, старался не показываться ему на глаза – не всякий у нас до сих пор умеет понимать шутку. Но всё-таки мы однажды встретились, и он, без тени обиды, попросил меня перевести экспромт и, рассмеявшись, заметил: «Жаль, что каламбуры непереводимы».

Мы вместе летели из Еревана домой, и Иван Петрович сказал мне полушутя, полувсерьёз: «Видишь, Гафу, мы с тобой увиделись дважды – один раз на земле и один раз на небе. Два интересных мгновения. Для нас и этого достаточно». До сих пор я задумываюсь над этими пророческими словами старого мастера. По-настоящему лицом к лицу, душа к душе – побеседовать с Иваном Петровичем мне больше не удалось, а поговорить было о чём...

И вот ещё одна встреча с Шуховым – в родной для всех нас Москве. Пусть и она подарит нам счастье общения, ощущение неизмеримости, богатства человеческой души, как это бывает при встрече с людьми богатой натуры, большого дарования, каким был и Иван Шухов – представитель великой горьковской когорты нашей советской литературы.

Хочу закончить своё маленькое выступление строками Николая Алексеевича Некрасова:

Природа-мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...»

Перечитывая искреннее, своеобразное каирбековское «Слово...», возвращаюсь в те ушедшие годы, вспоминаю и своё знакомство с яркими, благородными, верными в дружбе людьми – Гафу, Жаиком Бектуровым, земляком отца Габитом Махмудовичем Мусреповым. И на память приходят утешающие строки другого русского классика:

Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.

* * *

Внимательно слежу в Интернете за всем, что касается моего отца. Эмоции возникают самые разные. Вот – недавно дрогнуло сердце: на интернет-странице «100 лучших книг» увидел: Иван Шухов «Горькая линия». А ведь среди этих ста

книг – шедевры мировой литературы разных времён и народов. И вот – шуховский роман, первое издание которого вышло в далёком 1931 году. Значит, книга выдержала испытание временем и заняла своё место в самом почётном ряду литературных творений...

* * *

Заметки мои пишутся уже не первый год, и неизбежно придёт пора подумать об их завершении. Правда, жанр этот не предполагает стройного композиционного оформления. Тексты располагаются здесь произвольно, по мере их написания. Но всё же, решил я, коль уж предварил свою публикацию кратким предисловием, напрашивается в конце и нечто итоговое, какой-то заключительный аккорд. И тут помогла мне фраза из отцовского письма, посланного из станицы Пресновской моей матери в конце войны, 24 марта 1945 года. Было мне тогда всего-то шесть лет...

«Как я хочу воспитать своего сына на той степной поэзии, которая пленила чеховского Егорушку и обогатила и душу великого нашего русского народа, и великую его русскую литературу».

И это было сказано не ради красного словца. Начиная с семилетнего возраста отец каждое лето возил меня из Алма-Аты в Северный Казахстан, на свою малую родину. И я так же полюбил тот край, «где степь, берёзовые колки, где в небеса глядят глаза озёр», как спустя десятилетия, уже после отцовской кончины, написал в своей – посвящённой его памяти – поэме «Люблю и помню».

Есть в ней и строки об отцовских письмах, которые я, мальчишка, всегда ждал с нетерпением.

...О, эти письма! Полные лукавства
И светлой грусти, как родник, чисты,
Они мне и поныне – как лекарство,
Урок отцовской мудрой доброты,
Живой урок природной русской речи,
Где что ни слово – камень-самоцвет.
Она меня от суесловья лечит,
Душе не позволяя закоснеть.
А на полях – отцовские рисунки:
Изба под снегом. Деревцо. Стожок...
Земли приметы, что в себе несу я,
Чей образ свято сердце бережёт.

...Если бы не было тех писем, незабываемых детских впечатлений, не написать мне ни этой поэмы, ни венка сонетов «Земли родной неброские картины», ни документальных повестей «Ветер разлуки» и «Годы без отца...», ни этих моих заметок.

